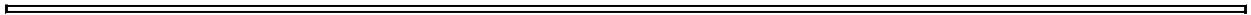


- [Александр Сергеевич Пушкин](#)

-

- [notes](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)



Александр Сергеевич Пушкин

Рославлев

Читая «Рославлева», с изумлением увидела я, что завязка его основана на истинном происшествии, слишком для меня известном. Некогда я была другом несчастной женщины, выбранной г. Загоскиным в героини его повести. Он вновь обратил внимание публики на происшествие забытое, разбудил чувства негодования, усыпленные временем, и возмутил спокойствие могилы. Я буду защитницею тени, – и читатель извинит слабость пера моего, уважив сердечные мои побуждения. Буду принуждена много говорить о самой себе, потому что судьба моя долго была связана с участью бедной моей подруги.

Меня вывезли в свет зимою 1811 года. Не стану описывать первых моих впечатлений. Легко можно себе вообразить, что должна была чувствовать шестнадцатилетняя девушка, променяв антресоли и учителей на непрерывные балы. Я предавалась вихрю веселия со всею живостию моих лет, и еще не размышляла... Жаль: тогдашнее время стоило наблюдения.

Между девицами, выехавшими вместе со мною, отличалась княжна** (г. Загоскин назвал ее Полиною, оставлю ей это имя). Мы скоро подружились вот по какому случаю. Брат мой, двадцати-двух-летний малый, принадлежал сословию тогдашних франтов; он считался в Иностранной Коллегии, и жил в Москве, танцуя и повесничая. Он влюбился в Полину и упросил меня сблизить наши дома. Брат был идолом всего нашего семейства, а из меня делал, что хотел.

Сблизясь с Полиною из угождения к нему, вскоре я искренно к ней привязалась. В ней было много странного и еще более привлекательного. Я еще не понимала ее, а уже любила. Нечувствительно я стала смотреть ее глазами и думать ее мыслями.

Отец Полины был заслуженный человек, т. е. ездил цугом и носил ключ и звезду, впрочем был ветрен и прост. Мать ее была напротив женщина степенная и отличалась важностию и здравым смыслом.

Полина являлась везде; она окружена была поклонниками; с нею любезничали, – но она скучала, и скука придавала ей вид гордости и холодности. Это чрезвычайно шло к ее греческому лицу и к черным бровям. Я торжествовала, когда мои сатирические замечания наводили

улыбку на это правильное и скучающее лицо.

Полина чрезвычайно много читала, и без всякого разбора. Ключ от библиотеки отца ее был у ней. Библиотека большею частью состояла из сочинений писателей XVIII века. Французская словесность, от Монтескье до романов Кребильйона, была ей знакома. Руссо знала она наизусть. В библиотеке не было ни одной русской книги, кроме сочинений Сумарокова, которых Полина никогда не раскрывала. Она сказывала мне, что с трудом разбирала русскую печать, и вероятно ничего по-русски не читала, не исключая и стихов, поднесенных ей московскими стихотворцами.

Здесь позволю себе маленькое отступление. Вот уже, слава богу, лет тридцать как бранят нас бедных за то, что мы по-русски не читаем, и не умеем (будто бы) изъясняться на отечественном языке. (NB: Автору «Юрия Милославского» грех повторять пошлые обвинения. Мы все прочли его и, кажется, одной из нас обязан он и переводом своего романа на французской язык.) Дело в том, что мы и рады бы читать по-русски; но словесность наша, кажется, не старше Ломоносова и чрезвычайно еще ограничена. Она, конечно, представляет нам несколько отличных поэтов, но нельзя же ото всех читателей требовать исключительной охоты к стихам. В прозе имеем мы только «Историю Карамзина»; первые два или три романа появились два или три года назад: между тем как во Франции, Англии и Германии книги одна другой замечательнее следуют одна за другой. Мы не видим даже и переводов; а если и видим, то воля ваша, я всё таки предпочитаю оригиналы. Журналы наши занимательны для наших литераторов. Мы принуждены всё, известия и понятия, черпать из книг иностранных; таким образом и мыслим мы на языке иностранном (по крайней мере, все те, которые мыслят и следуют за мыслями человеческого рода). В этом признавались мне самые известные наши литераторы. Вечные жалобы наших писателей на пренебрежение, в коем оставляем мы русские книги, похожи на жалобы русских торговков, негодующих на то, что мы шляпки наши покупаем у Сихлера и не довольствуемся произведениями костромских модисток. Обращаюсь к моему предмету.

Воспоминания светской жизни обыкновенно слабы и ничтожны даже в эпоху историческую. Однако ж появление в Москве одной путешественницы оставило во мне глубокое впечатление. Эта путешественница – M-de de Staël.^[1] Она приехала летом, когда большая часть Московских жителей разъехалась по деревням. Русское гостеприимство засуетилось; не знали, как угостить славную иностранку. Разумеется, давали ей обеды. Мужчины и дамы съезжались поглазеть на

нее, и были по большей части не довольны ею. Они видели в ней пятидесятилетнюю толстую бабу, одетую не по летам. Тон ее не понравился, речи показались слишком длинны, а рукава слишком коротки. Отец Полины, знавший M-de de Staël еще в Париже, дал ей обед, на который скликал всех наших Московских умников. Тут увидела я сочинительницу Корины. Она сидела на первом месте, облокотясь на стол, свертывая и развертывая прекрасными пальцами трубочку из бумаги. Она казалась не в духе, несколько раз принималась говорить и не могла разговориться. Наши умники ели и пили в свою меру и, казалось, были гораздо более довольны уху князя, нежели беседою M-de de Staël. Дамы чинились. Те и другие только изредко прерывали молчание, убежденные в ничтожестве своих мыслей и оробевшие при Европейской знаменитости. Во всё время обеда Полина сидела как на иголках. Внимание гостей разделено было между осетром и M-de de Staël. Ждали от нее поминутно *bon-mot*,^[2] наконец вырвалось у ней двусмыслие, и даже довольно смелое. Все подхватили его, захохотали, поднялся шопот удивления; князь был вне себя от радости. Я взглянула на Полину. Лицо ее пылало, и слезы показались на ее глазах. Гости встали из-за стола, совершенно примеренные с M-de de Staël: она сказала каламбур, который они поскакали развозить по городу.

«Что с тобою сделалось, *ma chere*?^[3]» – спросила я Полину, – «неужели шутка, немножко вольная, могла до такой степени тебя смутить?» – Ах, милая, – отвечала Полина, – я в отчаянии! Как ничтожно должно было показаться наше большое общество этой необыкновенной женщине! Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимают, для которых блестящее замечание, сильное движение сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны; она привыкла к увлекательному разговору высшей образованности. А здесь... Боже мой! Ни одной мысли, ни одного замечательного слова в течении трех часов! Тупые лица, тупая важность – и только! Как ей было скучно! Как она казалась утомленной! Она увидела, чего им было надобно, что могли понять эти обезьяны просвещения и кинула им каламбур. А они так и бросились! Я сгорела со стыда и готова была заплакать..... Но пускай, – с жаром продолжала Полина, – пускай она вывезет об нашей светской черни мнение, которого они достойны. По крайней мере, она видела наш добрый простой народ, и понимает его. Ты слышала, что сказала она этому старому, несносному шути, который из угождения к иностранке вздумал было смеяться над русскими бородами: «Народ, который, тому сто лет, отстоял свою бороду,

отстоит в наше время и свою голову». Как она мила! Как я люблю ее! Как ненавижу ее гонителя!

Не я одна заметила смущение Полины. Другие пронизательные глаза остановились на ней в ту же самую минуту: черные глаза самой M-de de Staël. Не знаю, что подумала она, но только она подошла после обеда к моей подруге, и с нею разговорилась. Через несколько дней M-de de Staël написала ей следующую записку:

Ma chère enfant, je suis toute malade. Il serait bien aimable a vous de venir me ranimer. Твchez de l'obtenir de M-de votre mire et veuillez lui prisenler les respects de votre amie^[4]

Эта записка хранится у меня. Никогда Полина не объясняла мне своих сношений с M-de de Staël, не смотря на всё мое любопытство. Она была без памяти от славной женщины, столь же добродушной как и гениальной.

До чего доводит охота к злословию! Недавно рассказывала я всё это в одном очень порядочном обществе. «Может быть, – заметили мне, – M-de de Staël была не что иное как шпион Наполеонов, а княжна ** доставляла ей нужные сведения». – «Помилуйте, – сказала я, – M-de de Staël, десять лет гонимая Наполеоном, благородная, добрая M-de de Staël, насилу убежавшая под покровительство русского императора, M-de de Staël, друг Шатобриана и Байрона, M-de de Staël будет шпионом у Наполеона!..» «Очень, очень может статься,» – возразила востроносая графиня Б. – «Наполеон был такая бестия, а M-de de Staël претонкая штука!»

Все говорили о близкой войне и сколько помню, довольно легкомысленно. Подражание французскому тону времен Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педанством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами. К несчастью, заступники отечества были немного простоваты; они были осмеяны довольно забавно и не имели никакого влияния. Их патриотизм ограничивался жестоким порицанием употребления французского языка в обществах, введения иностранных слов, грозными выходками противу Кузнецкого моста и том.<u> подоб.</u> <ным>. Молодые люди говорили обо всем русском с презрением или равнодушием и, шутя, предсказывали России участь Рейнской конфедерации. Словом общество было довольно гадко.

Вдруг известие о нашествии и воззвание государя поразили нас. Москва взволновалась. Появились простонародные листки графа Раstopчина; народ ожесточился. Светские балагуры присмирели; дамы вструхнули. Гонители французского языка и Кузнецкого моста взяли в обществах решительный верх и гостиные наполнились патриотами: кто

высыпал из табакерки французской табак и стал нюхать русской; кто сжег десяток французских брошюр, кто отказался от лафита и принялся за кислые щи. Все заикались говорить по-французски; все закричали о Пожарском и Минине, и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни.

Полина не могла скрывать свое презрение, как прежде не скрывала своего негодования. Такая проворная перемена и трусость выводили ее из терпения. На бульваре, на Пресненских прудах, она нарочно говорила по-французски; за столом в присутствии слуг нарочно оспаривала патриотическое хвастовство, нарочно говорила о многочисленности Наполеоновых войск, о его военном гении. Присутствующие бледнели, опасаясь доноса, и спешили укорить ее в приверженности ко врагу отечества. Полина презрительно улыбалась. Дай бог, говорила она, чтобы все русские любили свое отечество, как я его люблю. Она удивляла меня. Я всегда знала Полину скромной и молчаливой и не понимала, откуда взялась у ней такая смелость. Помилуй, сказала я однажды, охота тебе вмешиваться не в наше дело. Пусть мужчины себе дерутся и кричат о политике; женщины на войну не ходят, и им дела нет до Бонапарта. – Глаза ее засверкали. Стыдись, сказала она, разве женщины не имеют отечества? разве нет у них отцов, братьев, мужьев? Разве кровь русская для нас чужда? Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, что б нас на бале вертели в экосезах, а дома заставляли вышивать по канве собачек? Нет, я знаю, какое влияние женщина может иметь на 'мнение общественное, или даже на сердце хоть одного человека. Я не признаю унижения, к которому присуждают нас. Посмотри на M-de de Staël: Наполеон боролся с нею, как с неприятельскою силой.... И дядюшка смеет еще насмеяться над ее робостью при приближении французской армии! «Будьте покойны, сударыня: Наполеон воюет против России, не противу вас... Да! если б дядюшка попался в руки французам, то его бы пустили гулять по Пале-Роялю; но M-de de Staël в таком случае умерла бы в государственной темнице. А Шарлот Корде? а наша Марфа Посадница? а княгиня Д** <ашкова>? чем я ниже их? Уж верно не смелостию души и решительностию». – Я слушала Полину с изумлением. Никогда не подозревала я в ней такого жара, такого честолюбия. Увы! К чему привели ее необыкновенные качества души и мужественная возвышенность ума? Правду сказал мой любимый писатель: Il n' est de bonheur que dans les voies communes.^[5]

Приезд государя усугубил общее волнение. Восторг патриотизма овладел наконец и высшим обществом. Гостиные превратились в палаты

прений. Везде толковали о патриотических пожертвованиях. Повторяли бессмертную речь молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим имением. Некоторые маменьки после того заметили, что граф уже не такой завидный жених, но мы все были от него в восхищении. Полина бредила им. Вы чем жертвуете, спросила она раз у моего брата. Я не владею еще моим имением, отвечал мой повеса. У меня всего на все 30.000 долгу: приношу их в жертву на алтарь отечества. Полина рассердилась. Для некоторых людей, сказала она и честь и отечество, всё безделица. Братья их умирают на поле сражения, а они дурачатся в гостиных. Не знаю, найдется ли женщина, довольно низкая, чтоб позволить таким фиглярам притворяться перед нею в любви. Брат мой вспыхнул. Вы слишком взыскательны, княжна, возразил он. Вы требуете, чтобы все видели в вас M-de de Staël и говорили бы вам тирады из Корины. Знайте, что кто шутит с женщиною, тот может не шутить перед лицом отечества и его неприятелей. С этим словом он отвернулся. Я думала, что они на всегда поссорились, но ошиблась: Полине понравилась дерзость моего брата, она простила ему неуместную шутку, за благородный порыв негодования и, узнав через неделю, что он вступил в Мамоновской полк, сама просила, чтоб я их помирила. Брат был в восторге. Он тут же предложил ей свою руку. Она согласилась, но отсрочила свадьбу до конца войны. На другой день брат мой отправился в армию.

Наполеон шел на Москву; наши отступали; Москва тревожилась. Жители ее выбирались один за другим. Князь и княгиня уговорили матушку вместе ехать в их ***скую деревню.

Мы приехали в **, огромное село в 20 верстах от губернского города. Около нас было множество соседей, большею частью приезжих из Москвы. Всякой день все бывали вместе; наша деревенская жизнь походила на городскую. Письма из армии приходили почти каждый день, старушки искали на карте местечка *бивака* и сердились, не находя его. – Полина занималась одною политикою, ничего не читала, кроме газет, Растопчинских афишек, и не открывала ни одной книги. Окруженная людьми, коих понятия были ограничены, слыша постоянно суждения нелепые и новости неосновательные, она впала в глубокое уныние; томность овладела ее душою. Она отчаивалась в спасении отечества, казалось ей, что Россия быстро приближается к своему падению, всякая реляция усугубляла ее безнадежность, полиц.<ейские> объявления гр. <афа> Ростопчина выводили ее из терпения. – Шутливый слог их казался ей верхом неприличия, а меры им принимаемые варварством нестерпимым. Она не постигала мысли тогдашнего времени, столь

великой в своем ужасе, мысли, которой смелое исполнение спасло Россию и освободило Европу. Целые часы проводила она, облокотясь на карту России, рассчитывая версты, следуя за быстрыми движениями войск. Странные мысли приходили ей в голову. Однажды она мне объявила о своем намерении уйти из деревни, явиться в фр.<анцузский> лагерь, [добраться до Наполеона] и там убить его из своих рук. Мне не трудно было убедить ее в безумстве такого предприятия – но мысль о Шарлоте Корде долго ее не оставляла.

Отец ее, как уже вам известно, был человек довольно легкомысленный; он только и думал, чтоб жить в деревне как можно более по московскому. Давал обеды, завел thivtre de Sociйтй,^[6] где разыгрывал французские proverbes,^[7] и всячески старался разнообразить наши удовольствия. В город прибыло несколько пленных офицеров. Кн.<язь> обрадовался новым лицам и выпросил у губернатора позволение поместить их у себя...

Их было четверо – трое довольно незначущие люди, фанатически преданные Наполеону, нестерпимые крикуны, правда, выкупающие свою хвастливость почтенными своими ранами. Но <четвертый> был человек чрезвычайно примечательный.

Ему было тогда 26 лет. Он принадлежал хорошему дому. Лицо его было приятно. Тон очень хороший. Мы тотчас отличили его. Ласки принимал он с благородной скромностию. Он говорил мало, до речи его были основательны. Полине он понравился тем, что первый мог ясно ей истолковать военные действия и движения войск. Он успокоил ее, удостоверив, что отступление русских войск было не бессмысленный побег, и столько же беспокоило [французов], как ожесточало русских. Но вы, спросила его Полина, разве вы не убеждены в непобедимости вашего императора – Синекур (назову же и его именем, данным ему г-м Загос<киным>). Синекур, несколько помолчав, отвечал, что в его положении откровенность была бы затруднительна. Полина настоятельно требовала ответа. Синекур признался, что устремление фр.<анцузских> войск в сердце России могло сделаться для них опасно, что поход 1812 года, кажется, кончен, но не представляет ничего решительного. Кончен! возразила Полина, а Наполеон всё еще идет вперед <?> а мы всё еще отступаем! Тем хуже для нас, отвечал Синекур, и заговорил о другом предмете.

Полина, которой надоели и трусливые предсказания, и глупое хвастовство наших соседей, жадно слушала суждения, основанные на

знании дела и беспристрастии. От брата получала я письма, в которых толку не возможно было добиться. Они были наполненные шутками умными и плохими, вопросами о Полине, пошл.<ыми> уверениями в любви и проч. Полина, читая их, досадовала и пожимала плечами. Признайся, говорила она, что твой Алексей препустой человек. Даже в нынешних обстоятельствах, с полей сражений находит он способ писать ничего незначащие письма, какова же будет мне его беседа в течении тихой семейственной жизни? Она ошиблась. Пустота брат<ниных> писем происходила не от его собств.<енного> ничтожества, но от предрассудка, впрочем самого оскорбительного для нас; он полагал, что с женщинами должно употреблять язык, приноровленный к слабости их понятий, и что важные предметы до нас не касаются. Таковое мнение везде было бы невежливо, но у нас оно и глупо. Нет сомнения, что русские женщины лучше образованы, более читают, более мыслят, нежели мужчины, занятые бог знает чем.

Разнеслась весть о Бородинском сражении. Все толковали о нем; у всякого было свое самое верное известие, всякой имел список убитым и раненым. Брат нам не писал. Мы чрезвычайно были встревожены. Наконец один из развозителей всякой всячины приехал нас известить о его взятии в плен, а между тем пошепту объявил Полине о его смерти. Полина глубоко огорчилась. Она не была влюблена в моего брата и часто на него досадовала, но в эту минуту она в нем видела мученика, героя, и оплакивала втайне от меня. Несколько раз я застала <ее> в слезах. Это меня не удивляло, я знала, какое болезненное участие принимала она в судьбе страждущего нашего отечества. Я не подозревала, что было еще причиною ее горести.

Однажды утром гуляла я в саду; подле меня шел Синекур; мы разговаривали о Полине. Я заметила, что он глубоко чувствовал ее необыкновенные качества, и что ее красота сделала на него сильное впечатление. Я смеясь дала ему заметить, что положение его самое романическое. – В плену у неприятеля раненый Рыцарь влюбляется в благородную владетельницу замка, трогает ее сердце, и наконец получает ее руку. – Нет, сказал мне Синекур, княжна видит во мне врага России, и никогда не согласится оставить свое отечество. В эту минуту Полина показалась в конце алле<и>, мы пошли к ней навстречу. Она приближалась скорыми шагами. Бледность ее меня поразила.

Москва взята, сказала <она> мне, не отвечая на поклон Синекура; сердце мое сжалось, слезы потекли ручьем. Синекур молчал, потупя глаза. – Благородные, просвещенные фра<нцузы>, продолжала она

голосом, дрожащим от негодования, ознаменовали свое торжество достойным образом. – Они зажгли Москву – Москва горит уже 2 дни. – Что вы говорите, закричал Синекур, не может быть. – Дождитесь ночи, отвечала она сухо, может быть, увидите зарево. – Боже мой! Он погиб, сказал Синекур; как, разве вы не видите, что пожар Москвы есть гибель всему французск.<ому> войску, что Наполеону негде, нечем будет держаться, что он принужден будет скорее отступить сквозь разоренную опустелую сторону при приближении зимы с войском расстроенным и недовольным! И вы могли думать, что французы сами изрыли себе ад! нет, нет, русские, русские зажгли Москву. Ужасное, варварское великодушие! Теперь, всё решено: ваше отечество вышло из опасности; но что будет с нами, что будет с нашим императором.

Он оставил нас. Полина и я не могли опомниться. – Неужели, – сказала она, – Синекур прав, и пожар Москвы наших рук дело? Если так.... О, мне можно гордиться именем россиянки! Вселенная изумится великой жертве! Теперь и падение наше мне не страшно, честь наша спасена; никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки и жжет свою столицу.

Глаза ее так и блистали, голос так и звенел. Я обняла ее, мы смешали слезы благородного восторга, и жаркие моления за отечество. Ты не знаешь? сказала мне Полина с видом вдохновенн<ым>. – Твой брат.... он счастлив, он не в плену – радуйся: он убит за спасение России.

Я вскрикнула и упала без чувств в ее объятия.

notes

Примечания

1

Госпожа де Сталь.

2

остроты.

3

моя дорогая.

Дорогое дитя мое, я совсем больна. С вашей стороны было бы очень любезно, если бы вы зашли ко мне оживить меня. Постарайтесь получить на то позволение вашей матери и будьте добры передать ей почтительный привет от любящей вас де С.

Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах.

домашний любительский театр.

ПОСЛОВИЦЫ.